

Ф. Ницше



УТРЕННЯЯ
ЗАРЯ

Фридрих Ницше

Утренняя заря

«Фолио»

1881

Ницше Ф. В.

Утренняя заря / Ф. В. Ницше — «Фолио», 1881

Предлагаемая читателю работа знаменитого мыслителя Фридриха Ницше, провидчески названная автором "Утренней зарей", увидела свет в 1881 г. Она во многом стала прологом к окончательному разрыву Ницше со всей предшествующей философией. Это был шаг к созданию мышления, отрицающего старую мораль, к воспеванию человека, находящегося "по ту сторону добра и зла".

Содержание

Мысли о моральных предрассудках	6
Предисловие	7
1	7
2	8
3	8
4	9
5	9
Книга первая	11
Доисторическое время обычаев и нравственности	11
1	11
2	11
3	11
4	11
5	11
6	11
7	12
8	13
9	13
10	13
11	13
12	14
13	14
14	15
15	15
16	16
17	17
18	17
19	18
20	18
21	18
22	18
23	19
24	19
25	20
26	20
27	20
28	20
29	21
30	21
31	21
32	22
33	22
34	22
35	22
36	23
37	23

38	25
39	25
40	26
41	26
42	26
43	26
44	27
45	27
46	27
Книга вторая	28
Природа и история морального чувства	28
47	28
48	28
49	28
50	28
51	28
52	28
53	29
54	29
55	29
56	30
57	30
58	31
59	31
60	32
61	32
62	33
63	33
64	34
65	35
66	36
67	36
68	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Фридрих Ницше

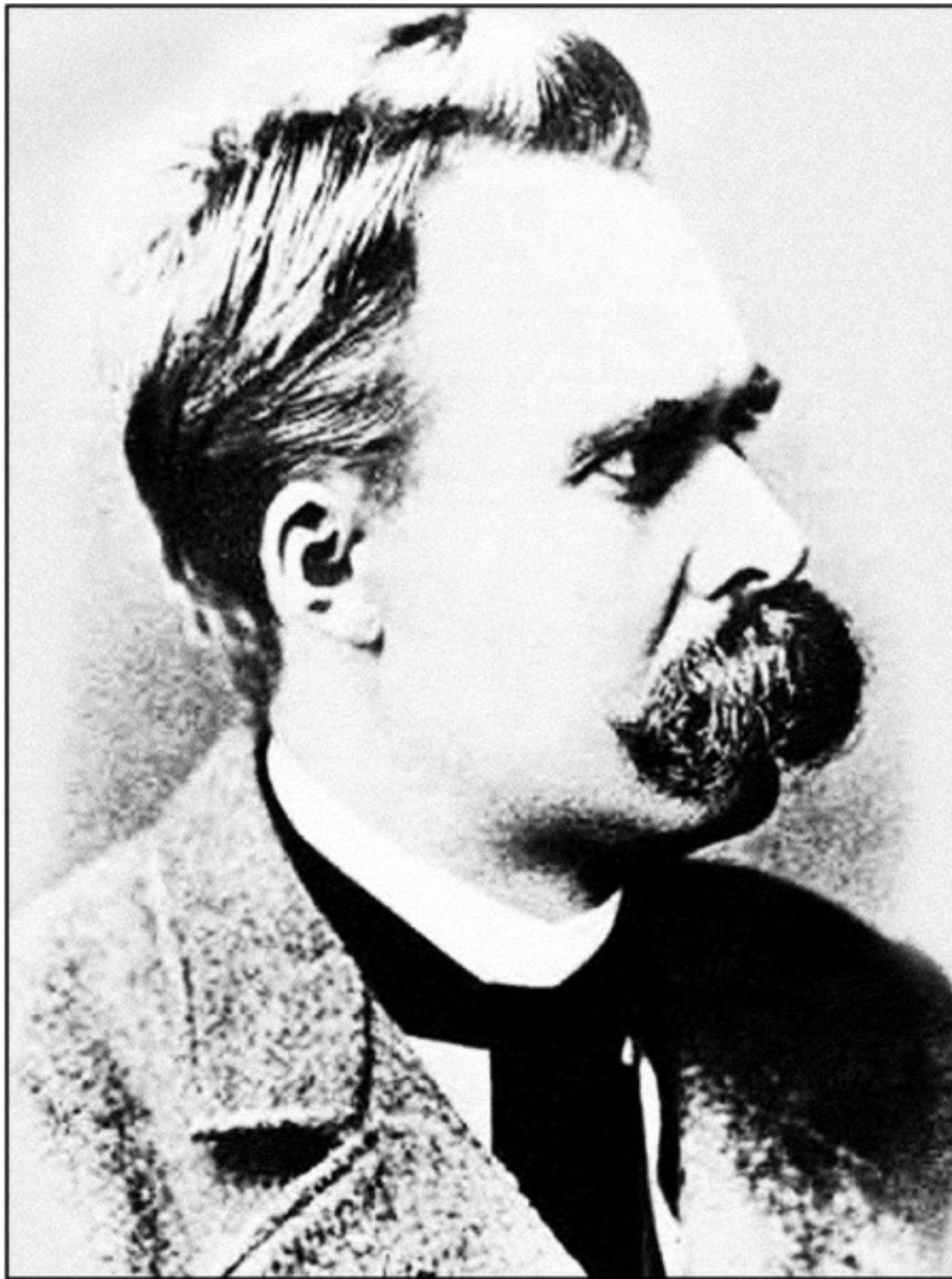
Утренняя заря (Morgenröte)

Мысли о моральных предрассудках

*Есть много утренних зорь,
которые еще не светили.*

Ригведа

Предисловие



1

В этой книге выведен житель подземелья за работой – сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком

больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным потому, что он надеется иметь *свое* утро, *свое* искупление, свою *утреннюю зарю*?.. Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там, внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты...

2

Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там, внизу, сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним прости, надгробным словом: я пришел назад и – я пришел *оттуда*. Не думайте, что я буду звать вас на такой же отважный шаг или хотя бы только к такому одиночеству! Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет помочь ему; он должен быть готов один на все, что ни встретится ему – опасность, несчастье, злоба, ненастье. Он идет *сам по себе*... и его горечь, его досада состоят в этом «сам по себе»: зачем, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться, где он, куда он идет? что по временам они будут спрашивать себя, – идет ли он вообще? Тогда предпринял я нечто такое, чего не каждый мог сделать: я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту старую *веру*, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на то, что все эти здания рушились – я начал исследовать нашу *веру* в мораль. Вы не понимаете меня.

3

Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом: решать его было слишком опасное дело. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным; в присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить: здесь должно – повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль как проблему – это признак безнравственности! Но мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдерживать критические руки; ее безопасность заключается еще более в некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, – она умеет «вдохновлять». Ей часто удается только одним взглядом парализовать критическую волю; бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон века обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью (даже анархисты – и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать; они даже называют себя «людьми добра и справедливости»). С тех пор, как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей оболыщения, – а что касается нас, философов, она была для нас настоящей *Цирцеей*.

В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят разрушиться или лежат уже в руинах, хотя сами они честно и серьезно считали их «прочнее меди твердой». О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос – «потому что все они упустили из виду испытание фундамента, *критику разума*» – этот роковой ответ Канта не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы на менее зыбкую почву. И не странно ли, *право*, требовать, чтобы орудие само оценивало свою пригодность и свое качество? чтобы интеллект сам «познавал» свою цену, свою границу, свою силу? Не кажется ли это даже немного бессмыслицей?.. Правильным отве-

том было бы то, что все философы строили свои здания, находясь под оболыщением морали, в том числе и сам Кант; что они обещали искать «правду», а на самом деле заботились только о том, чтобы построить «*величественные нравственные здания*». Сам Кант простодушно называл свою «не блестящую, но и не лишенную заслуг» задачу и работу средством «уровнять и упрочить почву для *величественных нравственных зданий*» (Критика чистого разума II 257). Увы! это не удалось ему. Даже наоборот!» – можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое, более чем всякое другое, было временем химер; таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века – сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо, в глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер с его *de fondet sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu* (Речь 7 июня 1794 г.). И чтобы создать *свое* «моральное царство», он видел себя вынужденным приставить еще недоказанный мир, логическое «по ту сторону», – для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она не нужна была бы ему, если бы ему не потребовалось непременно свое моральное царство сделать недоступным нападкам разума; он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком доступен для нападков со стороны разума. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий хороший немец, пессимистом. Он верил в мораль не потому, что она была доказана природой и историей, а несмотря на то, что природа и история постоянно противоречили ей: *credo, quia absurdum est*.

4

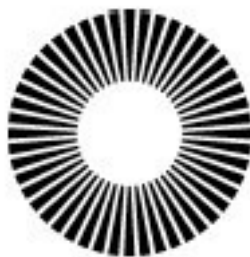
Но моральным феноменом являются не *логические* суждения, а доверие к разуму, отчего зависит признание или отрицание наших суждений... Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг? Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом *credo* и *absurdum*? И эта книга, проникнутая пессимизмом, вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, – разве не несет она на себе печати немецкого духа? В действительности, она представляет собой противоречие, и не боится этого: в ней объявляется доверие к морали – почему же? Из способности к морали или, назовите как хотите, то, что совершается в нас! Нет никакого сомнения, что и в нас еще говорит – «ты должен», и мы еще слушаемся строгого закона над нами, и эта последняя мораль нам понятна, о существовании ее мы знаем: не где-нибудь, а именно здесь мы являемся еще *людьми совести*. Но мы оставили то, что отжило, оставили старый идеализм, называйте его как хотите – правдой, справедливостью, любовью к людям, добродетелью; мы сломали мосты к старым идеалам... мы враги вообще всему европейскому *феминизму*, который вечно тянет вверх, но на самом деле вечно толкает вниз. Но как люди совести, мы стоим в родстве с немецкой праведностью и благочестием тысячелетий, будучи потомками, наследниками их и исполнителями их воли, их пессимистической воли, которая не останавливается перед отрицанием самой себя! Если вы хотите точного термина, – в нас совершается *самосохранение морали*.

5

Но, наконец, зачем должны мы говорить так громко о том, что мы есть, чего мы хотим и чего не хотим? Будем смотреть на это холоднее, осторожнее; будем говорить, как можно говорить между нами, так тихо, чтобы весь свет не услышал этого, чтобы весь свет не услышал нас... Прежде всего, будем говорить *медленно*... С такой книгой, с такой проблемой нет надобности торопиться; кроме того, мы оба – и я, и моя книга, – друзья медлительности. Не напрасно мы были филологами, не напрасно мы были учителями медленного чтения, – нако-

нец, мы и пишем тоже медленно. Теперь это сделалось не только моей привычкой, но и вкусом – может быть, дурным вкусом? Филология именно то заслуживающее уважения искусство, которое от своего почитателя требует прежде всего одного: идти стороной, давать себе время, быть тихим, медленным, как ювелирное искусство *слова*, которое исполняет только тонкую, осторожную работу и которое может испортить все, если будет торопиться. Именно потому оно теперь необходимее, чем когда-нибудь, именно потому-то оно влечет и очаровывает нас, в наш век «работы», век суетливости, век безумный, не щадящий сил поспешности, – век, который хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает все – она учит читать *хорошо*, т. е. медленно, всматриваясь в глубину смысла, следя за связью мысли, улавливая намеки, видя всю идею книги как бы сквозь открытую дверь... Мои терпеливые друзья! эту книгу могут читать только опытные читатели и филологи: выучитесь же хорошенько читать!..

*Рута, близ Генуи.
Осень 1886 года.*



Книга первая

Доисторическое время обычаев и нравственности

1

Дополнительная разумность. Все вещи, которые долго живут, до того проникаются мало-помалу разумом, что становится невероятным их происхождение от неразумного. Не отзывается ли для чувства парадоксом и дерзостью каждая точная история происхождения? Не противоречит ли постоянно в самом принципе хороший историк?

2

Предубеждение ученых. Правильно убеждение ученых, что люди всех времен думали, что они знают, что такое добро и зло, что похвально и что достойно порицания. Но предубеждение ученых состоит в том, что мы *теперь* будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде.

3

Все имеет свое время. Когда человек давал *пол* всему сущему, он не думал, что он играет, но предполагал, что он приобрел глубокую проницательность; чудовищность этой ошибки он понял позднее, но может быть и теперь еще не вполне. Точно так же человек все поставил в связь с моралью и повесил миру на плечи этическое значение.

4

Будьте благодарны. Великий продукт современного человечества состоит в том, что мы не испытываем теперь постоянного страха перед дикими зверями, варварами, богами, сновидениями.

5

Фокусник и его антипод. То, чему мы удивляемся в науке – противоположно тому, чему мы удивляемся в искусстве фокусника. Фокусник обманывает тем, что показывает простую причинность там, где, в действительности, существует причинность очень сложная; наука, напротив, заставляет нас верить в сложность причинности там, где все так легко понятно. «Самые простые» вещи *очень сложны*. – Удивительно!

6

Чувство пространства. Что больше содействует счастью человека – действительные или представляемые вещи? Известно, что *расстояние* между самым высоким счастьем и самым глубоким несчастьем измеряется с помощью представляемых вещей. Следовательно, чувство пространства такого рода все уменьшается под влиянием науки, так как мы узнали от нее, насколько мала Земля, и саму Солнечную систему мы представляем себе точкой.

Понятие нравственности обычаев. Сравнительно с образом жизни целых тысячелетий мы, теперешние люди, живем в очень безнравственное время: сила обычаев поразительно ослаблена, и чувство нравственности так утончено и так приподнято, что положительно можно назвать его окрыленным. Поэтому нам, позднейшим, трудно становится усмотреть самые корни происхождения морали, а если и удастся это сделать, язык прилипает к гортани, с языка не сходят слова, потому что они звучат слишком грубо! или потому, что они, как нам кажется, оскорбляют нравственность! Например, вот главное положение старых времен: нравственность не что иное (или не *более*) как подчинение обычаям, каковы бы они ни были; обычаи – традиционный способ действий. В тех случаях, где традиция не повелевает, нет нравственности; и чем меньше определяется жизнь традициями, тем меньше становится круг нравственности. Свободный человек безнравствен, потому что во всем он хочет зависеть от себя, а не от традиции. Во всех первобытных состояниях человечества слово «порочный» было равнозначуще слову «индивидуальный», «свободный», «независимый». Если совершалось какое-нибудь действие не потому, что *так* повелевала традиция, а в силу других мотивов (напр., ради индивидуальной пользы), такое действие считалось безнравственным; так оно и понималось даже самим его совершителем: ибо оно совершено с нарушением традиции. Что такое традиция? Высший авторитет, которому повиновались потому, что он приказывал, хотя бы в этом и не было пользы для нас. Чем отличается это чувство, которое испытывается перед традицией, от чувства страха вообще? Это – страх пред высшим интеллектом, который повелевает нами; перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем простая личность, – это *суеверие* в страхе. Первоначально и воспитание и медицина, и брак и гигиена, и земледелие и война, и разговор и молчание, общение людей и между собою и с богами, – все принадлежало области нравственности: тогда требовалось, чтобы соблюдали предписания, не обращая внимания на *себя*. Первоначально все было обычаем, и кто хотел стать выше этого, тот должен был сделаться законодателем, волхвом, полубогом, т. е. он должен был *создавать обычаи*, – вещь страшная, сопряженная с опасностью для жизни! Какой человек самый нравственный? Во-первых, тот, кто наиболее часто исполняет закон, т. е. подобно брамину, всюду в каждую минуту носит с собой сознание этого, так что при каждом удобном случае исполняет закон. Во-вторых, тот, кто исполняет закон в самых тяжелых обстоятельствах. Самый нравственный тот, кто больше всего *приносит жертвы* обычаю. Какая – наибольшая жертва? Из ответов на этот вопрос выделится несколько различных моралей, но важнейшим различием остается все-таки то, которое устанавливает два вида нравственности – нравственность *наиболее частого исполнения* закона и нравственность *исполнения* закона в *наиболее трудных случаях*. Не надобно обманываться о мотиве той морали, которая требует исполнения наиболее трудных законов как признака нравственности! Самообладание требуется не ради его полезных целей, которое оно имеет для индивидуума, а потому, что обычай, традиция является, вопреки всем индивидуальным выгодам, и требует, чтобы отдельная личность принесла себя в жертву, – такова нравственность обычаев. Напротив, те моралисты, которые идут по сократовским следам, и считают мораль самообладания и воздержания выгодной для самого индивидуума, ключом к его личному счастью, составляют исключение: они идут по новой дороге при явном нерасположении всех представителей нравственности обычаев; они исключаются из общины, как безнравственные. Так, римлянам христиане казались вредными потому, что они заботились прежде всего о спасении *своей* души. Всяду, где есть община и, след., нравственность обычаев, там господствует мысль, что за оскорбление обычаев наказание постигает прежде всего общину, – то сверхъестественное наказание, границу которого так трудно определить и которое принимается с таким суеверным страхом. Община может принудить индивидуума, чтобы он заплатил за

тот ближайший вред, который нанесен его поступком отдельному лицу или общине; она может также мстить индивидууму за то, что по его вине над общиной разразился гнев Божий, однако она сознает вину индивидуума *своей* виной, и несет его наказание как свое наказание: «нравы стали распутнее, если стали возможны такие поступки». Каждое индивидуальное действие, каждый индивидуальный образ мыслей возбуждает страх. Невозможно перечислить, сколько вынесли в течение всей истории эти редкие умы, которые считались порочными и опасными, и *которые сами себя считали такими*. Под властью такой нравственности все оригинальное считалось порочным.

8

Взаимное уничтожение понимания нравственности и понимания причинности. В какой мере растет понимание причинности, в такой же мере уменьшаются границы царства нравственности. Всякий раз, как поймут необходимые следствия, отделят их от всех случайностей и сумеют судить обо всех возможных *posthoc*, этим тотчас же разрушат бесчисленное множество *фантастических причинностей*, в которые прежде верили как в основы нравственности (действительный мир гораздо меньше фантастического); а лишь только из мира исчезнет боязливость и принуждение, – исчезнет и авторитет обычаев.

9

Народная мораль и народная медицина. Над моралью, господствующей в общине, непрерывно работает каждый. Большинство накапливают примеры на примеры для принятых отношений причин и следствий, вины и наказания, подтверждая, что этот порядок хорошо обоснован, – и вера их увеличивается. Другие проводят новые наблюдения над действиями и следствиями их, выводят из этого заключения и законы. Меньшинство находит и здесь и там недостатки и теряет веру. Но деятельность всех их одинаково груба и ненаучна: идет ли дело о примерах, наблюдениях, сомнениях или о доказательствах, подтверждениях, возражениях закону, – это ничего не стоящий материал и ничего не стоящая форма, как материал и форма всякой народной медицины. Народная медицина и народная мораль стоят близко друг к другу и заслуживают одинаковой оценки.

10

Следствие как прибавление. В древности думали, что результат какого-нибудь дела не есть простое следствие, а *прибавка*, приходящая извне, и именно от богов. Мыслимо ли большее заблуждение! Надобно было стараться о деле, а о результате – особенно, с совершенно различными средствами и приемами!

11

К новому воспитанию человеческого рода. Помогите, здравомыслящие, удалить понятие наказания, которое завладело всем миром! Нет более вредных плевел! Его не только сделали следствием нашего образа действий – как страшно и нелогично уже одно это: понимать причину и следствие как причину и наказание, – но сделали больше: всю чистую случайность совершающегося лишили ее невинности ради этого проклятого искусства толкования понятия наказания...

12

Сумасшествие в истории нравственности. Если несмотря на тот ужасный гнет нравственности обычаев, под которым начало жить человечество еще за несколько тысячелетий до нашей эры, если несмотря на это постоянно возникали все новые и новые мысли, взгляды, цели, то происходило это под страшным сопутствием: почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие и оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как *демонические* прихоти бури или моря и потому внушающие уважение и страх! Почему он должен был носить на себе печать полного безволия, как судороги эпилептика, представляющие безумного как бы говорящим голосом Божества! Сам носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собою, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее! Древние думали, что всюду, где есть сумасшествие, есть и гений, и мудрость – вообще есть нечто «божественное» или, как они выражались прямее и резче, – «сумасшествие дало Греции величайшие блага» – так говорил Платон со всем старым человечеством! Сделаем еще один шаг дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, *если они не были в действительности такими*, и таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков! – даже реформатор поэтического размера должен был показаться сумасшедшим! Даже в более цивилизованные времена за поэтами еще сохранялась репутация сумасшедших: этим воспользовался, напр., Солон, когда подстрекал афинян к завоеванию Саламина. Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший, и у кого не достает смелости казаться таким? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций, существовала целая тайная наука приемов. Один и тот же рецепт был и у индусов для того, чтобы сделаться фокусником, и у гренландцев – чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев – чтобы сделаться пайе: посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне, на горе или просто не думать ни о чем таком, что могло бы волновать или расстраивать. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые плодотворные люди всех времен! Послушайте только вздохи этих пустынных! «Ах, дайте мне безумие, боги! безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный; устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, – но только дайте мне веру в себя! Сомнение терзает меня!... Новый дух, который во мне, – откуда он, если не от вас? покажите же мне, что я – ваш; только безумие докажет мне это». И эта мольба часто достигала своей цели.

13

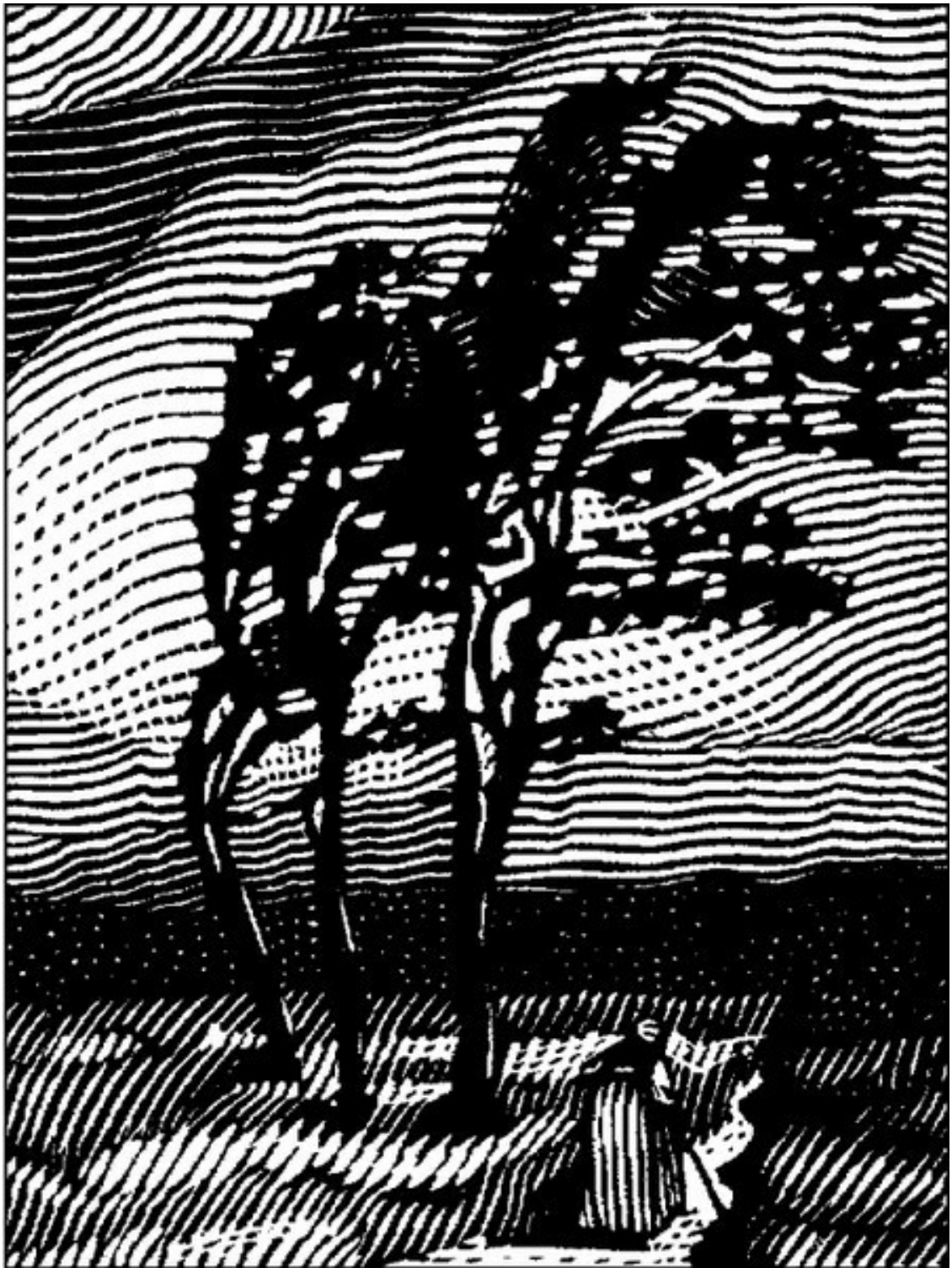
Древнейшее средство утешения. Первая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждой неудаче нечто такое, за что он должен мстить кому-нибудь другому; при этом он чувствует еще в себе силу, и это утешает его. – Вторая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждом несчастье наказание, т. е. очищение от греха и средство освободиться от злых чар действительной или воображаемой несправедливости. Видя такую выгоду, которую приносит с собою несчастье, он уже перестает думать, что за это надобно мстить другим, – он освобождается от такого рода удовлетворения, потому что для него есть удовлетворение другое.

14

Первое положение цивилизации. У диких народов есть обычаи, цель которых состоит, кажется, лишь в том, чтобы у народа был только обычай вообще. Это тяжелые и, в сущности, лишние законы: напр., камчадалы никогда не очищают снега с обуви ножом, не кладут железа в огонь: за нарушение этого полагается смерть. Такой факт подтверждает только великое положение, с которым вступает в историю цивилизация: лучше, чтобы народ имел какой бы то ни было обычай, чем чтобы не имел никакого.

15

Добрая и злая природа. Сначала человек придумал вмешаться в жизнь природы: всюду он видел себя и себе подобных, именно свой злой капризный характер: и в облаках, и в бурях, и в хищных зверях, и в деревьях, и в травах. Тогда-то он и нашел «злую природу». Потом настало время, когда он отделил себя от природы, время Руссо: люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями. Тогда изобрели «добрую природу».



16

Мораль добровольного страдания. Какое может быть высшее наслаждение для людей той маленькой, воинственной, постоянно находящейся в опасности общины, где царит самая строгая нравственность? А также для ее сильных, мстительных, злобных, коварных, хитрых душ, готовых на все самое страшное и закаленных лишениями и нравственностью? *Наслаждение жестокости!* В таком культурном состоянии добродетелью души считается изобретательность и ненасытность в жестокости; деянием жестокого наслаждается община, в ней черпает

она свою энергию и силу. Жестокость принадлежит к древнейшим праздникам человечества. Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, – и таким путем незаметно проникло в мир представление, что *добровольное страдание*, самоистязание имеет какую-то цену. Мало-помалу в общине возникают обычаи, соответствующие такому представлению: при всех слишком больших удачах человек впадал в страх и сомнение, а при несчастиях он становился увереннее: может быть, говорили себе, боги разгневаются на нас за наше счастье и милостиво отнесутся к нам за наше несчастье. Не сострадать, а *милостиво*! Сострадание презирается тогда и считается недостойным сильной и грозной души. Таким образом, в понятие «нравственного человека» общины входит добродетель частого страдания, лишения, суровой жизни, жестокого самобичевания; но, заметьте опять, все это считается нужным не как средство для воспитания, самообладания, поисков личного счастья, но как *добродетель*, угодная богам, как жертва очищения, постоянно требуемая для их алтаря. Все те духовные руководители народов, хотевшие достигнуть какой-нибудь цели, нуждались, кроме безумия, также и в добровольном истязании, чтобы найти доверие к себе, а главным образом и прежде всего, как и всегда, веру в самих себя. Чем дальше шел их дух по новому пути и, след., чем больше мучались они угрызениями совести и страхами, тем больше неистовствовали они против своего собственного тела, своих похотей, своего здоровья, – чтобы предложить божеству вознаграждение на тот случай, если ему не понравится пренебрежение к старому и стремление к новым целям. Вполне ли освободились мы сами от такой логики чувства? Пусть спросят об этом себя наиболее героические характеры! Каждый малейший шаг на поле свободного мышления самостоятельно устроенной жизни всегда приобретается ценою душевных и телесных страданий. Не только ход *вперед*, нет! самый ход, движение, перемена имели своих бесчисленных мучеников, особенно много бывало их в переходные, основополагающие, столетия. Конечно, когда говорят о «всемирной истории», не думают о них, об этом до смешного малом отрезке человеческого существования. И даже в этой так называемой всемирной истории, которая, в сущности, представляет только крик о последних событиях, нет более важной темы, как древняя трагедия мучеников, которые *хотели всколыхнуть болото*. Ни за что не заплачено было так дорого, как за ту малую частицу человеческого ума и чувства свободы, которая теперь составляет нашу гордость. Но эта же гордость делает почти невозможным для нас вспомнить те громадные эпохи «нравственности обычаев», которые предшествовали «всемирной истории» и, будучи *действительной и решающей главной историей, создали характер человечества*. Там страдание было добродетелью, добродетелью была жестокость, добродетелью было притворство, добродетелью была месть, добродетелью было сокрытие ума; там счастье было опасно, опасна была жажда знания, опасен был мир, опасно было сострадание; сделаться предметом сострадания там было позором, и позором был труд; безумие там считалось нисходящим от богов! Изменилось ли это, и изменило ли человечество свой характер?

17

Нравственность и оупение. Обычай есть результат опыта прежних поколений в вопросе о том, что полезно и что вредно. Но приверженность к обычаю не имеет никакого отношения к опыту как таковому: она объясняется древностью, святостью, неприкосновенностью обычая. И эта приверженность всегда мешала делать новые опыты и исправлять обычаи, т. е. нравственность препятствовала возникновению новых лучших обычаев: она *отупляла*.

18

Свободно поступающий и свободно мыслящий. Свободно поступающие оказываются внакладе против свободомыслящих, так как люди больше страдают от последствий поступков, чем

мыслей. Но если вспомнить, что и те и другие стремятся к своему удовлетворению, и что свободомыслящим доставляет удовлетворение мыслить и высказываться о запрещенных вещах, то в отношении мотивов они уравниваются. То же можно сказать и в отношении последствий, при том условии, если судить не по ближайшей и грубой реальности, т. е. не так, как судят все. Надобно многое отнять из клеветы, которой люди очерняли всех тех, кто своими действиями ломали обычаи. Каждый, кто ниспровергал существующий обычай, сначала постоянно считался *дурным человеком*, но потом, если не могли восстановить ниспровергнутый обычай и удовлетворяться новым, то предикат мало-помалу изменялся: история говорит почти об этих только *дурных людях*, которые позднее называются *хорошими*.

19

Исполнение закона. В случае, если исполнение морального предписания дает другой результат, чем было обещано и ожидалось, и приносит нравственным людям не обещанное счастье, а несчастье и беспомощность, то всегда возможна для мнительного и добросовестного человека оговорка: «здесь была какая-нибудь ошибка в *исполнении*». В крайнем случае глубоко страдающее и разбитое человечество постановит даже: «невозможно точно исполнить предписания, мы слишком слабы и грешны и неспособны к нравственности; поэтому мы не имеем права на счастье и успех. Нравственные предписания и обещания даны для существ лучших, чем мы».

20

Дела и вера. Протестантские учителя говорят, что все заключается в вере, и что из веры необходимо должны следовать и дела. Это совершенно неверно, но звучит так соблазнительно, что обмануло не только Лютера, но и других, в том числе Сократа и Платона, хотя очевидность ежедневных фактов говорит против этого. Самое достоверное знание или вера не могут дать ни силы к делу, ни опытности в нем. Ни знание, ни вера не могут заменить работу тонкого и сложного механизма, которая должна совершиться для того, чтобы представление перешло в действие. Прежде всего и важнее всего дела! Дела и дела! А нужная для этого «вера» – будьте уверены – явится.

21

В чем мы наиболее развиты. Вследствие того, что в течение нескольких тысяч лет все вещи считались одушевленными и одухотворенными, могущими вредить человеку, то чувство бессилия среди людей развито было гораздо сильнее и встречалось гораздо чаще, чем это должно бы быть. Необходимо было овладеть вещами – как людьми, так и зверями – силой, принуждением, лестью, договорами, жертвами, – отсюда ведет свое происхождение большинство суеверных обрядов, т. е. значительная, может быть, преобладавшая и все-таки бесполезная, даром потраченная часть, человеческой деятельности. Но так как чувство бессилия и страха было в таком долгом и почти непрерывном напряжении, то у человека развилось такое тонкое и такое щекотливое чувство власти, точно самые чувствительные весы для золота. Оно сделалось его сильнейшей страстью.

22

Оценка предписания. Судить о том, хорошо или дурно предписание, напр., предписание печь хлеб, можно только по тому, получается обещанный результат или нет; конечно, при условии точного исполнения. Иначе обстоит дело с моральными предписаниями: здесь нельзя

видеть результатов. Эти предписания основываются на гипотезах наименьшей научной ценности, когда доказать или опровергнуть результаты, в сущности, одинаково невозможно. Но прежде, в эпоху невежества и небольших требований, предъявляемых к доказательству истинности слов, оценка хорошего или дурного предписания обычаев устанавливалась так же, как и теперь устанавливается оценка каждого предписания – указанием на пользу. Если у каких-нибудь дикарей Америки существует предписание: «нельзя кости животных бросать в огонь или отдавать собакам», – оно доказывается так: «сделай вопреки этому закону, – и ты увидишь, что тебе не будет счастья на охоте». Трудно таким путем оспаривать пользу предписания, особенно, если носителем наказания за нарушение предписания является целая община, а не отдельный человек; короче говоря, здесь всегда можно отыскать какое-нибудь обстоятельство, которое, по-видимому, говорит в пользу предписания.

23

Обычай и красота. В пользу обычая надобно сказать, что у всех, кто преданы ему вполне и от чистого сердца, исчезают органы для нападения и для защиты – как духовные, так и телесные, т. е. эти субъекты становятся заметно красивее! Упражнение же этих органов и соответствующих этому мыслей имеют в себе нечто некрасивое и делает человека некрасивым. Потому-то старый павиан некрасивее молодого, а молодая самка павиана очень похожа на человека, т. е. очень красива. Отсюда можно сделать заключение о происхождении красоты женщин!

24

Животные и мораль. Люди успеха! Заботливое желание избежать всего смешного, бросающегося в глаза; дерзкого; утаивание своих добродетелей и наиболее сильных страстей, умение казаться равным с другими, сдерживать себя, – все это, как общественную мораль, можно найти в грубом виде, и в самом низком животном царстве. Но только здесь мы видим подоплеку этих красивых приемов: ускользнуть от преследователя и обеспечить себе добычу. Для этого животные приучаются владеть собой и так притворяться, что некоторые, напр., меняют свой цвет сообразно с цветом окружающей среды (в силу так называемых «хроматических функций»); они умеют казаться мертвыми; принимать форму и цвет другого животного, песка, листьев, гриба, лишая (то, что английские исследователи называют *mimicry*). Так и отдельный индивидуум теряется среди общего понятия «человек» или среди общества, стараясь держаться мнения партии, к которой он принадлежит. Даже и то чувство правды, которое, в сущности, есть чувство безопасности, у человека одинаково с животными: не хотят отдаться в обман, боятся обмануться сами, недоверчиво слушают голоса собственной страсти, насилуют себя, стоят настороже против самих себя: все это животное делает так же, как и человек, – и у животного из чувства действительности (из благоразумия) развивается самообладание. Животное точно так же наблюдает, какое действие оно производит на других зверей, отсюда учится оно наблюдать за собой, смотреть на себя «объективно», и доходит, таким образом, до некоторой степени самосознания. Животное судит о действиях своих врагов и друзей, оно запоминает их характерные свойства, оно приноравливается к ним; против одних оно ведет постоянную борьбу, с другими оно сходится с намерениями мира и договора. Начала справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости, – короче все, что мы именуем *сократовскими добродетелями*, можно найти в животном мире, и составляет результат стремлений – найти пищу и избежать врага...

25

Вера в сверхчеловеческие страсти. Институт брака упорно поддерживает веру, что любовь, хотя и страсть, однако как таковая способна продолжаться долго, и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. Ценность этой благородной веры, несмотря на то, что благодаря очень частым и почти обыкновенным противоречиям, она сделалась *pi a fraud*, дала любви высокое благородство. Все институты, которые дали страсти веру в их продолжительность, и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение: тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя, наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты – вечную верность, из искры гнева – вечную месть, из отчаяния – вечный траур, из мимолетного, единого слова – вечное обязательство: отсюда масса лести и лжи в мире, так как все это по силам существу *сверхчеловеческому*; это-то и возвышает человека!

26

Расположение как аргумент. Что бывает причиной смелой решимости к делу? Этот вопрос часто занимал людей. В древности отвечали: причиной этой решимости служит Бог; этим Он дает нам понять, что Он согласен с нашей волей. Когда спрашивали оракула о каком-либо предприятии, от него хотели получить большую решимость к делу. И когда человеку представлялся выбор между несколькими действиями, он отвечал на эти сомнения так: «я буду делать то-то, потому что к этому лежит мое сердце». След., делали выбор, руководствуясь не рассудком, а тем, что в глубине души человека таились расположение к данному поступку и надежда на успех. Расположение было на чаше весов в качестве аргумента и перетягивало рассудочность; а иногда суеверие заставляло считать расположение внушением, исходящим от сверхъестественной силы, которой обещался успех делу. Представьте теперь, какие последствия могли произойти от этого предрассудка! Им можно было заменить все доводы и победить все возражения!

27

Актеры добродетели. Среди людей древности, прославившихся своей добродетелью, было, как кажется, очень много таких, которые актерствовали перед самими собой; греки, как прирожденные актеры, делали это, вероятно, совершенно произвольно, и находили это хорошим. Здесь каждый *состязался* своей добродетелью с добродетелью другого и всех других: как не применить было здесь всех искусств для того, чтобы выставить свою добродетель прежде всего перед самим собой, уже ради упражнения только! Какая польза от добродетели, которую нельзя показать, или которая не умеет показать себя! Этих актеров уничтожило христианство.

28

Утонченная жестокость в роли добродетели. Вот нравственность, которая всецело покоится на желании отличиться. Что собственно это за желание, и какова ее задняя мысль? Хочется нам сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдание и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и унижение; нам хочется заставить его почувствовать горечь его судьбы и, капая на его язык каплю *нашего* меда, прямо и злорадно смотреть ему в глаза при этом мнимом благодеянии. Вот человек скромный, – но поищите, и вы, наверное, найдете людей, которым он старается причинить этим самым пытку. Другой выказывает

сострадание к животным и служит предметом удивления, – но есть люди, которым он старается причинить страдание именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник: наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, дает энергию его силам и помогает ему сделаться великим: скольких горьких минут стоило другим его величие! Непорочность монахини: какими глазами смотрит она в лицо других женщин!.. Тема не велика, но вариантов можно набрать без числа, и это следовало бы сделать, так как парадоксальна и нова мысль, что мораль отличия, в последнем основании своем, имеет наслаждение от утонченной жестокости. В последнем основании – это должно обозначать здесь «в первом поколении». Если привычки передаются по наследству, то задняя мысль не наследуется, так как наследственностью передаваться может только чувство, а не мысль. Таким образом, во втором поколении наслаждение, получаемое от жестокости, исчезнет, если оно не будет вновь развито воспитанием; останется только одно наслаждение, получаемое от привычки. Это наслаждение первая ступень к «добру».

29

Гордость духом. Гордость человека, возмущающаяся учением о происхождении людей от животных и предполагающая большую пропасть между природой и человеком, имеет в своем основании предрассудок, что такое дух, и этот предрассудок сравнительно *нов*. В долгую доисторическую эпоху человечества дух видели всюду в природе и не считали его исключительным свойством человека, так что многие знаменитые семьи не стыдились производить свой род от животных, деревьев и т. д., и даже видели в этом особую честь: духом считалось тогда то, что связывает нас с природой, а не то, что отделяет нас от нее. Так воспитывались в скромности, и точно так же вследствие *предрассудка*.

30

Тормоз. Нравственно страдать и потом услышать, что в страдании такого рода заключается ошибка, – это возмущает. Действительно, большое утешение – подтверждать своими страданиями «более глубокий мир правды», чем всякий другой мир; и всякий охотнее согласится страдать и чувствовать себя возвысившимся над действительностью (сознавая свою близость к тому «более глубокому миру»), чем жить без страданий, но зато и без этого возвышающего чувства. Это – гордость, и обычный прием удовлетворять ее, противоречит новому пониманию морали. Чем устранить этот тормоз? Большой гордостью?

31

Пренебрежение причинами, следствиями и действительностью. Те несчастные случайности, которые постигают общину: бури, неурожаи, засухи, – наводят всех членов ее на подозрение, что совершено нарушение каких-нибудь обычаев или что должны быть придуманы новые обряды, при помощи которых можно было бы успокоить демоническую силу. Таким образом эти сомнения и подозрения оставляли в стороне истинные естественные причины и предполагали причины демонические. Отсюда вышла и продолжалась наследственная извращенность человеческого интеллекта. Рядом с этим для этой извращенности был еще другой источник: настоящим, естественным следствиям действия верили гораздо меньше, чем сверхъестественным – так называемым наказаниям и милостям богов. Напр., обычаи требуют определенных омовений в определенное время, и совершают омовения *не затем, чтобы* сделаться чистыми, *а потому*, что существует такой обычай; стараются избежать не естественных последствий нечистоты, а гнева богов за нарушение обычая омовения. Под влиянием суеверного страха начинают подозревать, что омовение нечистоты имеет еще какое-то гораздо большее

значение, теряют в конце концов всякий смысл действительности и начинают считать омовение *символом*. Так упускал из виду человек, в эпоху «нравственности обычаев», сначала причины, потом следствия и, наконец, действительность, и связывал все свои чувства с воображаемым миром, с так называемым высшим миром. Следы этого мы видим и теперь еще: где чувство человека возвышается, там всегда на сцене воображаемый мир. Печально, но приходится заподозрить *все высшие чувства* – так тесно связаны они с безумием и бессмыслицей. Не таковы они в сущности, и не могут навсегда оставаться такими: из всех медленных *очищений* очищение высших чувств – самое медленное.

32

Нравственные чувства и нравственные понятия. По-видимому, нравственные чувства так передаются, что дети, вырастая, ощущают сильные симпатии или антипатии к определенным действиям, и они, как обезьяны, *подражают* этим склонностям и нерасположениям; позднее, когда они уже научатся этим аффектам, они считают приличным поставить запоздавшее «почему?» для того, чтобы оправдать те склонности и нерасположения. Подыскивая эти оправдания, они не обращают внимания на происхождение чувства: они стараются оправдаться только потому, что разумное существо должно иметь причины своих симпатий и антипатий, и притом причины – приемлемые. Поэтому история моральных чувств совсем иная, чем история моральных понятий: первые *предшествуют* действию, последние *следуют* за действием, ввиду необходимости высказаться о них.

33

Чувства и их происхождение от суждений. «Доверяй своему чувству!» Но чувства не конец и не начало: позади чувств стоят суждения и оценки, которые наследуются нами в форме чувств (симпатий, антипатий). Настроение, которое ведет свое происхождение от чувства, есть внук суждения – часто ложного и, во всяком случае, не своего собственного. Доверять своему чувству – это значит повиноваться деду, бабушке и их родителям более, чем нашим собственным властелинам – рассудку и опыту.

34

Глупость благочестия с задней мыслью. Как! Изобретатели первобытных культур, древнейшие мастера орудий и межевых шнурков, колесниц, кораблей... первые наблюдатели законов движения небесных светил и правил умножения – были нечто несравненно другое и несравненно высшее, чем изобретатели и наблюдатели наших времен? Первые шаги так важны и ценны, что с ними не могут сравниться все наши путешествия и открытия? Так говорит пред-рассудок, так аргументируют в пользу умаления значения современного духа. Однако ясно, что случай тогда был величайшим изобретателем и благодетельным внушителем тех изобретательных веков; и что теперь, при одном самом незначительном открытии, ум, образование и научная фантазия действуют в большей мере, чем прежде в целые эпохи вообще.

35

Ложные заключения из полезности. Если доказали высшую полезность вещи, то этим еще не сделали ни одного шага для объяснения ее происхождения: т. е. полезность вещи не говорит еще о необходимости ее существования. Но до сих пор господствовало именно такое превратное суждение – и даже в области самой строгой науки. В астрономии полезность (мнимую) спутников выдали за конечную цель их происхождения, именно чтобы восполнить каким-

нибудь путем свет, ослабленный большим расстоянием от солнца, и чтобы жителям планет не было недостатка в свете. Стоит только вспомнить заключения Колумба: земля сотворена для людей; след., если есть земля, она должна быть заселена. «Возможно ли, чтобы солнце светило даром и чтобы ночные караулы звезд расточались без пользы на непроходимых морях и безлюдных землях?».

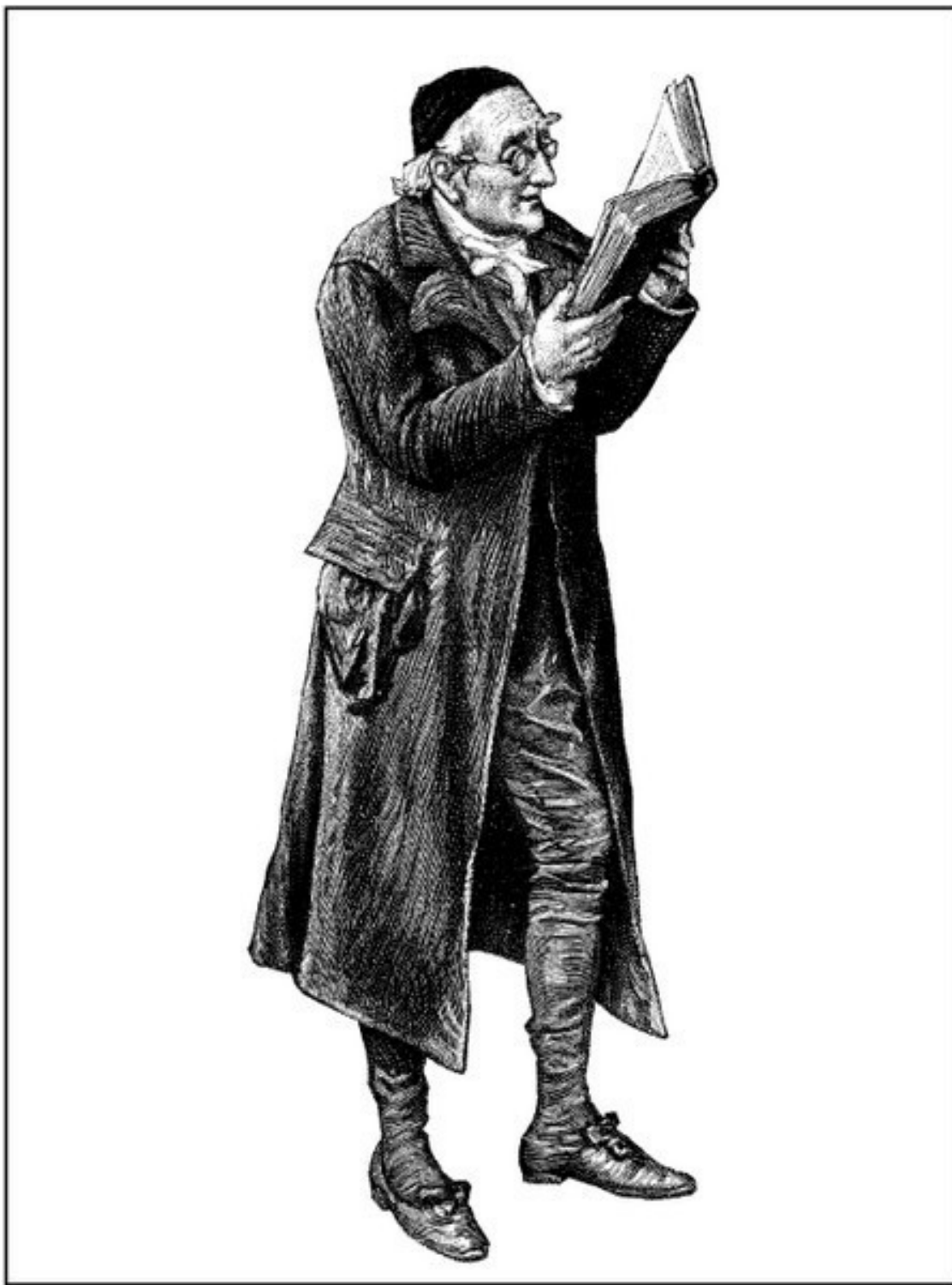
36

Влечения, преобразованные моральными суждениями. Одна и та же склонность развивается в томительное чувство трусости под впечатлением порицания, которым клеймят это чувство обычаи, или в приятное чувство смирения, если нравы, как, напр., христианские, называют его *хорошим*, т. е. все дело зависит от того, чиста или не чиста бывает совесть. Сама по себе интересующая нас склонность, как и всякая склонность, не имеет ни этого, ни вообще какого-нибудь морального характера или имени, ни даже определенного сопровождающего ощущения удовольствия или неудовольствия: все это она приобретает только впоследствии, как свою вторую природу, когда она вступает в соприкосновение со склонностями, которые окрестили уже хорошими или дурными, или когда она является качеством существ, моральная оценка которых уже установлена народом. Так, древние греки понимали зависть иначе, чем мы: Гесиод причисляет ее к действиям *доброй*, благодетельной Эрис, и для них не казалось предосудительным представлять своих богов завистливыми. И это вполне понятно для той эпохи, душою которой была борьба, а борьба пользовалась тогда высокой оценкой.

Точно так же древние греки понимали *надежду* иначе, чем мы: им казалась она слепой и коварной. Гесиод говорит о ней в одной басне и притом так странно, что его не понял ни один из новых толкователей, так как его рассказ находится в диаметральной противоречии с современным духом, который научился, под влиянием христианства, видеть в надежде добродетель; иудеи понимали гнев иначе, чем мы, и называли его священным. Мрачное величие гневного человека представлялось им стоящим на такой высоте, какую европеец не может представить себе: своего гневного Иегову они создали по своим гневным пророкам.

37

Оценка созерцательной жизни. Мы, люди созерцательной жизни, не должны забывать, сколько зла и несчастий принесло созерцание людям активной жизни. Во-первых, брамины, напр., ставили своей целью постоянно затруднять жизнь практическим людям и отбивать у них, насколько возможно, энергию к деятельности. Во-вторых, художники. Они всегда были людьми нетерпеливыми, капризными, завистливыми, склонными к насилию, беспокойными; такое впечатление, получаемое от них, уменьшает возвышающее и просветляющее впечатление, получаемое от их произведений.



В-третьих, философы, совмещающие в себе и религиозную и художественную созерцательную жизнь, рядом с которыми имеет место третья – диалектическая созерцательная жизнь, страсть к доказательствам; они производили на мир такое же влияние, как и первые два рода людей, предававшихся созерцательной жизни, и своей диалектической страстью делали людей нерешительными. В-четвертых, – мыслители и ученые. Они редко искали влияния на людей, чаще закапывались они тихо в свои кротовые норы; часто они служили не предметом досады и нерасположения, а предметом насмешек, и этим против своей воли доставляли облегчение людям активной жизни. Наконец теперь наука сделалась полезной для всех, и если ради этой пользы очень многие, предназначенные к активной жизни, пошли по пути науки в поте лица

своего и не без проклятий, то за это зло на ученых и мыслителей не падает никакой вины: это самоистязание.

38

Возникновение созерцательной жизни. В малоцивилизованные времена, когда господствуют пессимистические суждения о человеке и о мире, индивидуум, чувствуя в себе полноту сил, всегда старается действовать согласно с этими суждениями, т. е. переводить представление в действие, причем пользуется охотой, грабежом, набегом, обманом, убийством и вообще всякими другими приемами, терпимыми в общине. Когда же сила оставляет его, когда он чувствует себя утомленным, больным, впадает в уныние или испытывает пресыщение, – вследствие этого временами он впадает в апатию, его желания и страсти притупляются, и он становится сравнительно лучшим, т. е. менее вредным человеком. Его пессимистические представления выражаются тогда только в словах и мыслях, напр., о качествах его товарищей, жены, жизни, богов... Его суждения становятся суждениями *дурными*. В таком состоянии превращается он в мыслителя, прорицателя; он создает суеверия, новые обычаи, смеется над своими врагами. Но все, что придумывает он, все создания его духа носят на себе печать его состояния, т. е. страха, утомления, разочарования; содержание этих созданий должно соответствовать содержанию этих поэтических или философствующих настроений: в них должно царить дурное суждение. Позднее, все те, которые продолжали делать то, что прежде делал он один в таком состоянии, которые, следовательно, имели дурные суждения, вели меланхолическую и бездеятельную жизнь, – они становились то поэтами, то мыслителями, то чародеями. Таких людей, за их бездеятельность и ничтожество, следовало бы исключать из общины. Но это было опасно, – их охраняло суеверие о присутствии у них следов божественных сил: никто не сомневался, что они обладают неведомыми средствами власти. Так смотрели на древнейшее поколение созерцательных натур; их презирали лишь постольку, поскольку не боялись! В таком замаскированном виде, в таком двусмысленном положении, со злым сердцем и часто с беспокойной головой впервые появилось на земле *созерцание*, сначала слабое и страшное, втайне презираемое, и явно почитаемое с суеверным благоговением! Здесь, как и всюду, можно сказать *pudenda origo!*

39

Сколько сил должно теперь соединяться в мыслителе. Освобождение от чувственного созерцания и *возвышение* к абстрактному – некогда чувствовалось действительно как *возвышение*, но мы уже не можем более ощущать этого. Парение среди неуловимых образов, игра в такие невидимые, неслышимые, неоощаемые существа чувствовалась тогда как бы жизнь в другом *высшем* мире, и исходила из глубокого презрения чувственно осязаемого, соблазнительного и злого мира. «Эти абстракции не соблазняют, они руководят!» В доисторическое время науки этим «высшим миром» была игра в духовность, а не содержание этой игры в духовность. Этим-то и объясняется удивление Платона перед диалектикой и его восторженная вера в ее необходимую связь с хорошим, свободным от чувственности человеком. Были анализированы и открыты способы познания вообще, состояние и те процессы, которые в человеке предшествуют познанию. И всякий раз казалось, что вновь открытый процесс или вновь ощущаемое состояние – не средство к познанию, но содержание, цель, сумма познаваемого. Мыслитель нуждается в фантазии, в полете мысли, в абстракции, в воспоминании, в изобретательности, в догадке, в индукции, в диалектике, в дедукции, в критике, в собирании материала, в созерцании и т. д., но не в справедливости и не в любви ко всему, что бы ни было; все эти средства считались, в истории созерцательной жизни, делами и притом конечными целями,

и давали их изобретателям то блаженство, которое нисходит в человеческую душу, когда ей светит конечная цель.

40

Происхождение и значение. Почему мне снова и снова приходит эта мысль и расцветается для меня все более и более пестрыми красками? – что *прежде* исследователи, если они бывали на пути к происхождению вещей, думали, что они открывают нечто такое, что имеет неоценимое значение для всякого действия и суждения, и даже постоянно предполагали, что от познания происхождения вещей зависит спасение человека; что теперь мы, наоборот, чем дальше продвигаемся к началу вещей, тем меньше мы интересуемся ими, и даже наши оценки вещей и наши «заинтересованности» ими начинают терять свой смысл, чем больше мы углубляемся в познание вещей. Поиски *начала* показывают *незначительность начала*, но при этом то, что ближе к нам – что около нас и в нас – начинает, мало-помалу, показывать свои краски и красоты, свою загадочность и богатство значения, о которых прежние люди даже и не грезили. Прежде мыслители ходили, подобно пойманным зверям, постоянно злобно озираясь на прутья своей клетки и бросаясь на них с целью разбить их, и счастлив казался тот, который думал, что он видит сквозь отверстие что-нибудь из того, что происходит снаружи, по ту сторону, вдали.

41

Трагический выход познания. Из всех средств, способных возвышать, человеческие жертвы наиболее возвышали человека во все времена. Но и это средство могло бы быть превзойдено другим чрезвычайным средством, могущим победить победоносных, – средством *приносящего себя в жертву человечества*. Но кому в жертву оно могло бы принести себя? Можно клятвенно поручиться, что если когда-нибудь звезда такой мысли появится на горизонте, то, значит, познание правды осталось единственной великой целью, так как только ей подобает такая жертва, ибо для нее нет слишком большой жертвы. Между тем никогда еще не ставилась проблема: насколько возможно человечеству, как целому, достичь обладания правдой? Не говоря уже о том, какая страсть к познанию могла бы заставить человечество жертвовать собой, чтобы умереть со светочем мудрости в очах! Может быть, если когда-нибудь целью познания будет поставлен братский союз с жителями других планет, и в течение нескольких тысячелетий будут сообщать свое знание от звезды к звезде, – может быть, тогда восторги познания подымутся на такую головокружительную высоту!

42

Слова в качестве препятствия. Древние, ставя слово, воображали, что они делали целое открытие. На самом деле это было далеко не так! Они ставили проблему и, желая разрешить ее, создавали своим приемом препятствия к ее разрешению. Теперь, при каждом познании, приходится наткаться на окаменевшие, увековечившиеся слова, и скорее сломаешь ногу, чем слово.

43

«*Познай самого себя*» – *целая наука*. Только в конце познания всех вещей человек познает самого себя: вещи – только границы человека.

44

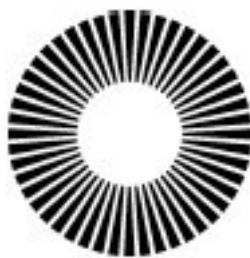
Новое основное чувство: наша брэнность. Прежде старались создать чувство величия человека тем, что указывали на его Божественное *происхождение*; теперь этот путь запрещен: у входа на него поставили обезьяну с другим страшным чудовищем, и она внушительно скрежещет зубами, как бы желая сказать: Не смей идти по этой дороге! Теперь обратились к другому направлению, к цели, *куда* идет человечество, и указывают на этот путь, как на доказательство его величия и родства с Богом. Увы! путь каждого из нас кончается могильным памятником с надписью: *nihil humani a me alienum puto*. На какую бы высокую ступень развития ни поднялось человечество – может быть, в конце оно будет стоять выше, чем вначале! – нет для человечества перехода в высший порядок. Становление (*das Werden*) влечет за собой исчезновение; зачем же из этой вечной игры делать исключения для какой-то планетки! И на этой планетке для одного вида, живущего на ней? Прочь эти сентиментальности!

45

Вера во вдохновение. Люди возвышенных и вдохновенных минут, которые в обыкновенном своем состоянии или по случаю болезни бывают беспомощны и безутешны, видят в этих минутах свое нормальное состояние как человека, свое «я», а состояние беспомощности и безутешности считают навеянными вчуже, из «вне я». И потому они вспоминают об окружающей среде, о своем времени, о всем своем мире со злобным чувством. Вдохновение для них настоящая жизнь, их «я»; во всем остальном они видят преступников, врагов этого состояния, к какой бы области человеческой жизни оно ни принадлежало. Эти фанатики причинили человечеству много зла: они неутомимые сеятели плевел недовольства собою и ближними, презрения эпохой и миром, и вообще муки миром. Целый ад преступников едва ли мог бы оказать такое удручающее, заражающее воздух, неприятное влияние и на такое громадное пространство времени, как эти сумасброды, полусумасшедшие, гении, не могущие владеть собою и только тогда испытывающее удовольствие, когда теряют часть сознания. Между тем «преступник» часто обнаруживает в себе значительное самообладание, самопожертвование и рассудительность и вызывает к жизни те же качества у тех, которые его боятся. Быть может, небо становится от него мрачнее, но воздух крепче и свежее. Кроме того, те фанатики всеми своими силами насаждают веру в восторженность, как в жизни: страшная вера! Как дикари развращаются и быстро вымирают от водки, так и человечество развращалось, опьяняясь духовной водкой и, может быть, пошло уже к разложению.

46

Каковы мы есть. «Будем снисходительны к великим слепцам», – сказал Стюарт Милль. А я говорю: «будем снисходительны к зрячим, великим и малым», – потому что большего, чем снисхождение, мы не можем дать в том положении, в каком мы находимся.



Книга вторая

Природа и история морального чувства

47

Становятся нравственными *не потому, чтобы были нравственными*. Подчинение морали может быть или рабским, или суетным, или своекорыстным, или самоотверженным, или глупо восторженным, или бессмысленным, или актом отчаяния: само по себе это не содержит ничего нравственного.

48

Изменчивость морали. Изменяют мораль, работают над ее преобразованием те, кто с успехом совершает все, что ни захочет, каков бы ни был его поступок.

49

В чем мы все неутомимы. Мы постоянно делаем заключения из суждений, которые считаем ложными, из учений, в которые мы не верим, – при содействии наших чувств.

50

Пробудиться от сна. Благородные и умные люди верили когда-то в музыку сфер. Благородные и умные люди верят и теперь еще в «нравственное значение жизни». Но в один прекрасный день эта сферическая музыка не слышна стала их уху! Они проснулись и увидели, что эту музыку они слышали во сне.

51

Древнейшие моральные суждения. Как поступаем мы при виде человека вблизи нас? Сначала мы смотрим на то, что из его поступков выйдет для нас; мы смотрим на него только с этой точки зрения. Это следствие мы принимаем за намерение его действий, и, наконец, приписываем ему обладание такими намерениями как бы в постоянное его качество, и называем его, напр., «вредным для нас человеком». Тройное заблуждение, тройная старинная ошибка! Можно ли искать начало морали в этих мелочных выводах: «что мне вредно, то *дурно* (вредно само по себе)»; «что мне полезно, то *хорошо* (благодетельно, полезно само по себе)»; «что мне принесло вред один или несколько раз, то враждебно само по себе»; «что принесло мне пользу один или несколько раз, то приятно само по себе». *O pudenda origo!* Если кто случайно поступит дурно по отношению к другому, можно ли сказать, что такова его природа, и утверждать, что он способен только к таким поступкам, к таким отношениям и к другим, и к себе. Не скрывается ли здесь самая смелая из всех мыслей: что мы сами должны быть принципом блага, если по себе мы мерим добро и зло?

52

Есть два рода людей, отрицающих нравственность. «Отрицать нравственность» – это, *во-первых* значит отрицать возможность того, чтобы нравственные мотивы, на которые ссыла-

ются люди, действительно руководили ими в их действиях, – Другими словами, – это значит утверждать, что нравственность состоит в словах и принадлежит к самым грубым и тонким обманам (именно к самообману) людей, и это касается, может быть, именно людей, наиболее выдающихся добродетелями. *Во-вторых*, «отрицать нравственность» значит отрицать, что нравственные суждения основываются на истинах. В этом последнем случае предполагается, что нравственные суждения были действительно мотивами действия, но что человека привели к его нравственным действиям ошибки, служащие основой всего нравственного суждения. Это – *моя точка зрения*. Я не отрицаю, что многих поступков, которые называются безнравственными, надобно избегать и надобно сдерживать их. Я не отрицаю, что следует делать и требовать, чтобы делали многое из того, что называется нравственным. Но то и другое должно *стоять на иной почве, чем это было до сих пор*. Мы должны переучиться, чтобы, наконец, может быть и поздно, достигнуть большего – *изменить свои чувства*.

53

Наши оценки. Все действия сводятся к оценкам; все оценки бывают или наши собственные или усвоенные; последних гораздо больше. Почему усваиваем мы их? Из страха, – т. е. мы считаем более полезным поставить себя в такое положение, как будто бы они были и наши собственные, и приучаем себя к этому притворству, так что оно, наконец, становится нашей натурой; иметь собственные оценки – это значит измерять вещь в отношении к тому, сколько удовольствия или неудовольствия делает она именно нам и никому другому – нечто чрезвычайно редкое. Но, по крайней мере, наша оценка другого, в которой лежит мотив, что мы в большинстве случаев пользуемся *его* оценкой, должна же исходить от нас, быть нашим собственным определением? Да, но мы делаем ее, будучи детьми, и редко пересматриваем ее снова; мы оцениваем наших ближних по-детски и находим нужным преклоняться потом перед их оценкой.

54

Мнимый эгоизм. Большая часть, хотя и говорит и думает постоянно о своем «эгоизме», однако в течение всей своей жизни ничего не делает для своего *ego*, но только для фантома этого *ego*, какой составил о нем в головах окружающей их среды и сообщил им. Вследствие этого все они вместе живут в тумане безличных, полуличных мнений и произвольных, почти фантастических, критериев, – один постоянно в голове другого, а этот другой, в свою очередь, в голове третьего: странный мир фантастических образов, который вдобавок умеет придать себе такой трезвый вид. Этот туман мнений и привычек растет и живет почти независимо от людей, которых он покрывает; в нем заключается страшная сила всеобщих суждений о «человеке»; все эти неведомые сами себе люди верят в лишенный крови и тела абстракт «человека», т. е. в фикцию; и каждая перемена, которая совершается с этой абстракцией, благодаря суждениям отдельных сильных людей (философов, напр.), действует на массы чрезвычайным образом. Все это потому, что каждый индивидуум в этой массе не может противопоставить этой безжизненной фикции действительного, ему доступного, им обоснованного *ego*, и этим уничтожить фикцию.

55

Против определений моральных целей. Цель морали теперь почти всюду определяется так: сохранение и движение человечества вперед. Но это значит хотеть только иметь формулу, и больше ничего. Сохранение – *в чем?* Движение – *куда?* Не выпущены ли в форму те самые существенные моменты – ответ на эти «в чем» и «куда»? Какое учение об обязанностях можно создать с этой формулой? Возможно ли из нее угадать, насколько продолжительное существо-

вание предстоит человечеству? Очень ли далеко уйдет оно вперед? Как различны должны быть в этих обоих случаях средства, т. е. практическая мораль! Если предположить, что человечеству хотят дать высшую, возможную для него разумность, то это, конечно, еще не значит, что ему дают высшую, возможную для него продолжительность существования? Если предположить, что, может быть, это «в чем» и «куда» заключает в себе «высшее счастье», думают ли при этом о той высшей ступени, которой, мало-помалу, могут достигнуть отдельные люди? Или о вообще совсем не ожидаемом, но, в конце концов, достигаемом среднем счастье всех? Почему же тогда путем к этому должна быть мораль? Разве люди, придерживающиеся морали, не оказывались недовольными собой, ближними и своим жребием?

56

Наше право на нашу глупость. Как поступать? Для чего поступать? При ближайших потребностях индивидуума ответить на эти вопросы очень легко, но чем сложнее, обширнее, важнее становится область действия, тем неопределеннее, а след., и произвольнее может быть ответ. Но именно произвольность-то и должна быть отсюда исключена! Так требует авторитет морали. Этот авторитет морали связывает мысль с вещами, где было бы опасно *ложно* мыслить; таким образом она обыкновенно оправдывается перед своими обвинителями. «Ложно» здесь значит – «опасно».

Но опасно для кого? Обыкновенно носители авторитетной морали имеют перед глазами собственно не опасность действующего, но их собственную опасность, возможность для них лишиться власти и значения, как только дано будет всем право поступать произвольно, по собственному большому или малому разумению, т. е. ради самих себя делают они немислимым пользоваться правом произвольности и глупости, – они приказывают даже там, где трудно ответить на вопросы «что делать?», «к чему делать?». И если разум человечества растет так необыкновенно медленно, что часто для всего хода человечества факт этого роста отрицается, – кто же больше виновен в этом, как не это вездесущее моральных приказаний, которые не позволяют громко поставить индивидуальный вопрос: «как? для чего?» Воспитание дает нам патетические чувства и блуждание во тьме, тогда как разум должен был бы смотреть холодно и ясно! И притом во всех более высоких и важных случаях.

57

Отдельные положения. Если индивидуум хочет счастья, ему не надобно давать никаких предписаний о пути к счастью: индивидуальное счастье вытекает из собственных неизвестных другим законов; предписания, даваемые извне, могут только тормозить и мешать. Предписания, которые называют моральными, имеют, в действительности, целью ограничить индивидуумы; если моральные предписания говорят о «счастье и благополучном ходе человечества», то с такими общими словами нельзя соединять каких-нибудь строгих понятий, не говоря уже о том, что их нельзя поставить маяком на темном океане бурных человеческих стремлений. Неправда, что бессознательной целью каждого сознательного существа (животного, человека, человечества) служит достижение «высшего счастья». Напротив, на всех ступенях развития есть особенное, ни с чем не сравнимое, ни высшее и ни низшее, а именно свое особенное, характерное счастье. Развитие ищет не счастья, а только развития и больше ничего.

Только в том случае, если бы человечество имело общепризнанную цель, можно было бы делать предписания: «поступать так-то и так-то», но такой цели нет.

Если человечеству рекомендовать цель, тогда цель будет мыслиться как нечто такое, что лежит в нашем желании. Но моральные предписания как таковые должны стоять выше желания; таких предписаний нельзя давать, их надобно брать, получать откуда-нибудь.

58

Самообладание и умеренность: их последний мотив. Я нахожу только шесть существенно различных методов, чтобы побороть силу страсти. Во-первых, можно удаляться от поводов для удовлетворения страсти и соблюдать промежутки времени, в которых страсть не будет удовлетворяться, все более и более продолжительными; таким образом, страсть постепенно потеряет свою силу и замрет. Во-вторых, можно поставить себе законом строгий последовательный порядок в удовлетворении страсти, внося, таким образом, в нее порядок и заключив ее ход и пространство в определенные границы времени. Мы получим промежутки, когда страсть не будет смущать нас, – а отсюда можно перейти к первому методу. В-третьих, можно намеренно отдаться дикому, необузданному удовлетворению страсти, чтобы получить отвращение, а вместе с отвращением и власть над страстью, предполагая, конечно, что будешь поступать при этом не так, как всадник, который, очертя голову, гонит своего коня и ломает себе шею, – чем, к сожалению, часто кончается такая попытка. В-четвертых, есть интеллектуальный прием, именно, соединять с удовлетворением какую-нибудь тяжелую мысль так тесно, чтобы, после нескольких случаев, мысль об удовлетворении тотчас же вызывала тяжелое чувство. Напр., у христианина с мыслью о преступлении соединяется мысль о вечном наказании в аду; при мысли о воровстве у нас возникает всегда мысль о презрении, которое падет на нас со стороны уважаемых нами людей; или если кто-нибудь упорному желанию самоубийства в сотый раз противопоставит мысль о том горе, которое причинит родным его поступок, – такие мысли начинают чередоваться в нем как причины и следствия. Сюда принадлежат также и те случаи, когда гордость человека, как, напр., у лорда Байрона или Наполеона, возмущается, оскорбляется перевесом отдельного аффекта над всеми чувствами и рассудком: отсюда желание тиранизировать страсть и умертвить ее. В-пятых, предпринимают дислокацию своих сил, начиная какую-нибудь тяжелую напряженную работу или намеренно подставляя себя чарам нового удовольствия, – таким образом и мысли и силы направляются в другую сторону. Равным образом можно временно покровительствовать другой страсти, удовлетворять ее и сделать ее расчётчицей тех сил, которыми, в противном случае, повелевала бы главная страсть. Иные, правда, умеют держать в узде отдельную страсть, которая могла бы играть роль повелителя, давая некоторую волю всем другим, известным ему, страстям, и позволяя им пользоваться тем запасом, которым хотел воспользоваться неограниченно тиран. Наконец, в-шестых, кто сможет и сумеет ослабить всю свою телесную и духовную организацию и привести ее в угнетенное состояние, тот, конечно, этим достигнет цели обессилить отдельную страсть.

След., избегать поводов, вводить порядок в страсть, достигать пресыщения и отвращения к ней, вызывать ассоциацию мучительной мысли (стыда, дурного последствия, оскорбленной гордости), дислокацию сил, и, наконец, общее ослабление и истощение – вот эти шесть приемов; но мы вообще не обладаем силой побороть упорство страсти, какой бы прием мы ни применяли для этого, и какой бы успех ни имели. Вернее сказать, при всем этом процессе наш интеллект является только слепым орудием *другой страсти*, играющей роль *соперника* той, которая мучит нас; желание ли это покоя, страх перед позором и другими дурными последствиями или любовь. В то время как мы думаем, что «мы» жалуемся на одну страсть, это, в сущности, жалуется *одна страсть на другую*. Боль от страсти ощущается потому, что есть другая такая же сильная, а может быть, и более сильная страсть; потому что этим страстям предстоит вступить в борьбу, в которой должен принять участие наш интеллект.

59

То, что сопротивляется. Можно наблюдать на себе следующий процесс, и я хотел бы, чтобы он наблюдался часто и подтвердился. В нас возникает чутье известного рода *удоволь-*

ствия, которого мы еще не знаем, и, следовательно, возникает новое *требование*. Теперь дело в том, *что* сопротивляется этому *требованию*: это – вещи и соображения общего свойства; люди, к которым мы относимся без большого уважения, – таким образом, цель нового требования облекается чувством «благородного, хорошего, достойного похвалы, достойного жертвы», пропитывается всем унаследованным моральным запасом, – и мы уже не думаем больше о своем удовольствии, мы стремимся быть только моральными, а от этого зависит и твердость нашего стремления.

60

Объективность. Кто, как дитя, усвоил от своих родных и знакомых, среди которых он вырос, разнообразные и сильные чувства, но мало тонкого суждения и стремления к интеллектуальной справедливости, и таким образом употребил лучшие свои силы и время на подражания чувствам, – тот, сделавшись взрослым, замечает, что каждая новая вещь, каждый новый человек возбуждают в нем симпатию или отвращение, зависть или презрение. Под впечатлением этого опыта, против которого он чувствует себя бессильным, он удивляется *нейтральности чувства* или «объективности» как чуду, как свойству гения и самой редкой морали; он не хочет верить, что оно только дитя воспитания и привычки.

61

Естественная история обязанности и права. Наши обязанности – права других на нас. В силу чего они приобрели их? В силу того, что они считали нас способными к договору и к отплате, ставили нас наравне с собою; они доверяли нам что-нибудь, воспитывали нас, наставляли нас на путь, поддерживали нас. Мы исполняем нашу обязанность, т. е. мы оправдываем то представление о нашей способности, предположением о которой было вызвано все то отношение к нам; мы отдаем назад в той мере, в какой давали нам. Наша *гордость* заставляет нас исполнять обязанность, мы хотим восстановить нашу самостоятельность, независимость, противопоставляя тому, что сделали другие для нас, что-нибудь такое, что делаем мы для них. Если бы мы своей «обязанностью» не давали вознаграждения тем, кто что-нибудь сделал для нас, т. е. если бы мы не вторгались в сферу их силы и способностей, то они долго держали бы нас в своих руках. Только того, что находится в нашей власти, могут касаться права других: было бы неразумно, если бы они захотели иметь от нас что-нибудь такое, что не принадлежит нам самим. Точнее говоря, только того, что считают они стоящим в нашей власти, при условии, что и сами мы считаем это находящимся в нашей власти. С той и с другой стороны легко может выйти одинаковая ошибка: чувство обязанности связано с тем, что мы, наравне с другими, имеем ту же самую *веру* в объем нашей власти: именно с тем что мы обещаем, что мы *можем* взять на себя такую-то обязанность («свобода воли»). Мои права, т. е. та часть моей власти, которую не только дали мне другие, но и в которой они хотят иметь меня.

Каким образом эти другие доходят до этого? Во-первых, их доводят до этого соображение, страх и осторожность; это потому, что они ожидают от нас подобного же к ним отношения (охрана своих прав), или потому, что считают борьбу с нами опасной или нецелесообразной, или, наконец, потому, что во всяком уменьшении наших сил они усматривают ущерб для себя, так как тогда мы оказались бы негодными для союза с ними в борьбе против третьей, враждебной, силы.

Во-вторых, здесь могут играть роль дарение и отказ: в этом случае другие имеют достаточно или слишком достаточно власти, чтобы быть в состоянии дать нам часть ее и за отданную часть поручиться тому, кому они подарили ее; при этом необходимо условие существования небольшого чувства власти у того, кто получает дар. Так возникают права, т. е. признанные и обеспеченные степени власти. При переменах в отношениях власти права исчезают и обра-

зуются новые: это показывают международные права в их постоянном исчезновении и возникновении. Если наша власть существенно уменьшается, то изменяется чувство тех, которые прежде обеспечивали нам нашу власть. Они рассчитывают, могут ли они снова привести нас в наше прежнее положение; если они чувствуют себя не в состоянии сделать это, то отрицают тогда наши «права». Равным образом, если наша власть значительно усиливается, то изменяется чувство тех, которые признавали ее до сих пор, и в признании которых мы более не нуждаемся. Они будут пытаться, правда, низвести ее в прежнюю степень, будут вмешиваться и ссылаться на свою «обязанность», – но это только бесполезное словоизлияние. Где господствует право, там поддерживаются состояние и степень власти, там борются против усиления и ослабления. Право других – уступка нашего чувства власти чувству власти этих других. Если наша власть пошатнулась и падает, наши права исчезают, и наоборот, если мы становимся гораздо могущественнее, то исчезают права других на нас, так как мы до сих пор уступали их. «Справедливый» человек постоянно нуждается в тонком такте взвешивать размеры власти и размеры права, так как они, при непостоянстве всего человеческого, устанавливаются в равновесии только на очень короткое время: большею частью одна или другая чаша весов перетягивает. Следовательно, быть справедливым трудно, для этого требуется много навыка, опытности, доброй воли, и еще больше хорошего *духа*.

62

Стремление к отличию. Стремление отличиться имеет постоянно ввиду ближнего и хочет знать, что у него от этого на душе; но то *чувство*, которого требует для своего удовлетворения эта страсть, далеко от добродушия, сострадания, доброты. Хотят знать или угадать, как человек *страдает* внешне или внутренне от нас, как теряет он силу над собой и отдается впечатлению, которое производит на него наша рука или только наш взгляд; и даже если стремящийся производить (и хочет производить) приятное, возвышающее, радующее впечатление, – он все-таки наслаждается своим успехом не потому, что при этом радовал, возвышал своего ближнего, но потому, что он *производил впечатление* на чужую душу, менял ее форму и распоряжался ею по своему желанию. Стремление к отличию есть стремление к победе над ближним, будь она только очень посредственная, или только чувствуемая, или только воображаемая. Длинный ряд ступеней этой втайне желаемой победы, и подробное описание их составило бы целую историю культуры от первого карикатурного варварства вплоть до карикатуры утонченного и болезненного идеализма. Стремление к отличию приносит с собою для *ближнего* (назову только несколько ступеней этой длинной лестницы) страдания, потом удары, потом страх, потом болезненное изумление, потом зависть, потом удивление, потом нравственный подъем, потом радость, потом веселость, потом смех, потом насмешку, потом удары, потом пытку... Здесь в конце лестницы стоит аскет.

В действительности счастья, мыслимого как самое живое чувство власти, может быть нигде на земле не было больше, как в душах суеверных аскетов. Об этом свидетельствуют брамины в истории царя Вишвамитры, который из тысячелетних покаяний почерпнул такую силу, что предпринял создать новое небо. Я думаю, что во всем этом роде душевных переживаний мы теперь – неопытные новички, могущие только ощупью подойти к загадке; четыре тысячи лет тому назад об этих утонченных самонаслаждениях знали больше.

63

О познании страдающего. Состояние больных людей, которых долго и страшно мучили их идеи, и ум которых несмотря на это не омрачен, – не лишено цены для познания, не говоря уже об интеллектуальных благодеяниях, каждое из которых приносит с собою глубокое удивление, минутную и дозволенную свободу от всех обязанностей и привычек. Тяжело страдаю-

щий смотрит на не касающийся его внешний мир со страшной холодностью: все те маленькие обманчивые чары, которыми обыкновенно окутаны бывают вещи, когда смотрит на них глаз здорового человека, исчезают перед больным. Если до сих пор он жил в каком-нибудь опасном бреде – боль отрезвит его, выведет его из этого состояния; она может быть для него единственным спасительным средством. Страшное напряжение интеллекта, желающего оказать сопротивление боли, производит то, что человек видит все в новом свете; и то невыразимое очарование и возбуждение, которые испытываешь при взгляде на вещи в новом освещении, часто обладают такой значительной силой, что оказывают сопротивление всем соблазнам к самоубийству: страдающий начинает чувствовать сильное желание жизни. С презрением вспоминает он об уютном теплом мире, в котором живет здоровый человек, мало думающий, мало дающий себе здравый отчет о том, что совершается вокруг него; с презрением вспоминает он о самых благородных, самых любимых им иллюзиях, в которые прежде он играл сам с собою. Он наслаждается теперь тем, что вызывает это презрение как бы из глубины ада и доставляет душе самое горькое страдание: это служит ему противовесом физической боли, – он чувствует, что ему теперь необходим именно этот противовес!

В этом ужасающем ясновидении он взывает: «будь же своим собственным обвинителем и палачом! прими же свое страдание, как кару, наложенную на тебя тобой самим! размышляй о самом себе как судья и, более того, поступай с собой с тираническим произволом! Стань выше своей жизни и выше своего страдания! смотри вниз на почву и на беспочвенность!» Наша гордость возмущается, как никогда, против такого тирана, как боль, и против всех тех внушений, какие она делает нам, стараясь заставить нас высказаться против жизни. Против этого-то тирана наша гордость и старается защитить жизнь. В этом состоянии с ожесточением защищаются против всякого пессимизма, боясь, как бы он не явился *следствием* нашего состояния и, одолев нас, не подавил бы нас окончательно. Никогда побуждение быть справедливым в суждениях не было больше, чем теперь, так как теперь оно дает нам триумф над нами и над самым опасным из всех состояний, могущим извинить всякую несправедливость суждения. Но мы не хотим оправдываться, именно теперь мы хотим показать, что мы можем быть «без вины». Мы находимся в настоящем припадке гордости. И вот является первый рассвет выздоровления, – и почти первым следствием этого является то, что мы защищаемся против господства нашей гордости: мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным! Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль, и настойчиво ищем противоядия гордости: мы хотим ослабить себя, обезличить после того, как боль дала нам силу и *личность*. «Долой, долой эту гордость! – кричим мы, – она была болезнью, она была припадком!» Мы опять смотрим на человека и природу более жаждущими взорами: грустно улыбаясь, мы припоминаем, что мы знаем теперь о них нечто новое и другое, чем прежде; что покрывало спало – но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного, трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше сквозь вещи. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья, – мы смотрим на это, как бы испытывая какое-то превращение; мы – выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.

64

Так называемое «я». Язык и предрассудки, на которых построен язык, часто мешают нам выяснить сущность внутренних процессов и желаний. Например, вследствие того, что существуют только слова для превосходной степени этих процессов и желаний – а мы привыкли не всматриваться в состояния и факты, если для них недостает слов, потому что там трудно точно мыслить, – поэтому обыкновенно заключают, что там, где прекращается область слова,

прекращается также и область бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе, – все это имена для обозначения *крайних* состояний: средние и низкие степени их ускользают от нас, а меж тем они-то и ткут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключения, – а между тем они могут ввести в заблуждение не только *наблюдателя*, они вводят в заблуждение и самого *действующего* человека. Все мы представляем собою, в сущности, не то, чем мы кажемся в наших крайних состояниях, которые одни только и можно знать и о которых (одних) только можно говорить и, следовательно, порицать нас или хвалить. Мы несправедливо судим о себе по этим грубым, легко осязаемым порывам, которые одни только известны нам; мы делаем заключения на основании такого материала, в котором больше исключений, чем правил; мы ошибаемся только при чтении этих, по-видимому, слишком ясных букв нашего «я». Но *наше мнение о себе*, составленное таким ложным путем, так называемое наше «я», влияет на наш характер и на нашу судьбу.

65

Неизвестный мир «субъекта». С чем человеку труднее всего согласиться – это со своим незнанием о самом себе; и это относится ко всей истории от древнейших времен до настоящих! Не только в вопросах о добре и зле, но даже и в вопросах гораздо более существенных! Жива еще старинная иллюзия, что *можно знать*, и притом вполне точно, *о сущности и свойстве каждого поступка человека*. Не только само лицо, совершающее какое-либо действие и, след., обдумывающее его, – нет! даже всякий другой не сомневается, что он будто бы понимает самую сущность в процессе действия каждого другого. «Я знаю, чего я хочу; я знаю, что я сделал; я свободен и отвечаю за это; я могу назвать все нравственные силы, все внутренние движения, сопровождающие действие; вы можете поступать, как вы хотите, я понимаю и себя и всех вас!» Так думал прежде каждый. Сократ и Платон, великие скептики и достойные удивления реформаторы, верили, однако, в это проклятое заблуждение, в эту глубочайшую ошибку: что «за правильным познанием *должно следовать* правильное действие». В этом принципе они оказались наследниками всеобщего заблуждения, всеобщего высокомерия: что, будто бы, можно знать сущность действия. «Было бы *страшно*, если бы человек, понимая, в чем состоит правильный образ действия, не поступал бы так», – вот единственный довод, которым те великие мыслители старались оправдать свой принцип: противоположное им казалось невысказанным, глупым. А между тем это противоположное является голой действительностью, подтверждаемой испокон века ежедневно и ежечасно! Не заключается ли «страшная» правда в том, что то, что знание о таком-то поступке никогда не бывает достаточным для того, чтобы заставить совершить его; что до сих пор не построен еще мост, связывающий воедино знание о поступке с самим поступком? Поступки никогда не бывают тем, чем кажутся они нам! Нам стоило такого громадного труда понять, что вещи не есть то, чем кажутся они нам, – с внутренним миром дело обстоит точно так же! Моральные действия в действительности «нечто другое», чем они кажутся, и все действия человека, в сущности, нам неизвестны. Противоположное мнение было и теперь продолжает быть всеобщей верой: против нас действует древнейший реализм; человечество думало до сих пор: «поступок человека есть то, чем он кажется нам». При пересмотре этого места я вспомнил очень выразительные слова Шопенгауэра, которые я хочу привести в доказательство того, что и он, без всяких колебаний, стоял за этот моральный реализм, и таким остался навсегда: «действительно, каждый из нас, – говорит он, – компетентный и вполне моральный судья, точно знающий добро и зло; святой, если он любит добро и презирает зло». Все это относится к тому, кто должен оценивать не свои собственные, а чужие поступки, и одобрять их или не одобрять, а тяжесть исполнения несут чужие плечи.

66

В клетке. Мой глаз, все равно сильный он или слабый, видит только небольшое пространство; в этом небольшом пространстве я двигаюсь и существую, и этот горизонт есть предназначенный для меня мир, откуда я не могу выйти. Около каждого существа лежит такой концентрический круг, имеющий один центр и предназначенный для этого центра. И ухо, и осязание также замыкают нас в небольшое пространство. По этим горизонтам, в которые, как в тюрьмы, запирают нас наши чувства, мы *мерим* весь мир, мы знаем одно близким, а другое далеким; это большим, а то малым; это жестким, а то мягким: эту мерку мы называем ощущением, и это все, все, в сущности, ошибки! По количеству опыта и возбуждений, которые возможны для нас в известный промежуток времени, считают жизнь длинной или короткой, бедной или богатой, полной или пустой. И по средней человеческой жизни мы мерим жизнь всех других творений, – это все, все, в сущности, ошибки! Если бы мы имели глаза, видящие пространство в сто раз большее, нам казался бы человек несравненно большим; можно представить себе даже такую силу органов, с помощью которой человек ощущался бы неизмеримым. С другой стороны, органы могут быть такие, что вся Солнечная система могла бы представляться тесной, маленькой ячейкой, а существу противоположного порядка одна клетка человеческого тела могла бы казаться громадной, как Солнечная система, движущаяся, построенная по строгому закону. Свойства наших чувств обманывают нас в ощущениях, которые, в свою очередь, служат руководителями наших суждений и «познаний», – следовательно, *в действительный мир* нет хода! Мы сидим в своей клетке, мы – пауки, и все, чего мы ни ловим, мы не можем поймать, разве только это само собою залетит *в нашу* клетку.

67

Что такое ближний? Что знаем мы о нашем ближнем, о том ближнем, который соприкасается с нами, который влияет на нас? О нем мы не знаем ничего, кроме тех перемен, которые происходят в нас, и причиной которых он бывает, – наше знание о нем равняется пустому, имеющему форму, пространству. Мы приписываем ему *ощущения*, которые вызывают в нас его поступки, и даем ему такую ложную, извращенную позитивность. Сообразно с нашим знанием о самих себе, мы делаем его спутником нашей собственной системы: если он светит или затемняется и мы – последняя причина того и другого, то мы думаем все-таки наоборот! Мы живем в мире фантазии! В мире извращенном, вывернутом наизнанку, пустом, но полном ясных сновидений!

68

Жизнь и фантазия. Как бы далеко ни простирал кто-нибудь своего самосознания, ничто не может быть так неполно, как картина всех *влечений*, составляющих его существо. Едва ли он будет в состоянии назвать по имени наиболее явные из них: их число и сила, их прилив и отлив, их борьба между собою, и прежде всего законы их пропитания, – останутся ему почти неизвестными.

Их питание становится, следовательно, делом случая: наша жизнь ежедневно бросает добычу то тому, то другому влечению, которую оно с жадностью пожирает. Но весь ход нашей жизни стоит вне всякой разумной связи с потребностями питания всего комплекса влечений: постоянно одно из них голодает и страдает, а другое пресыщается. В каждый момент нашей жизни растут те или другие полипы нашего существа, смотря по тому, какие из них получают пищу в данное время. Наши опыты являются, в этом смысле, средствами питания, но разбро-санными слепой рукой, не обращающей внимания на то, кто голодает в эту минуту и кто пре-

сыщен. И вследствие этого случайного питания частей, выросший полип представляет собою нечто случайное, как и следовало ожидать от его подверженного случайностям развития. Точнее говоря, предположим, что влечение дошло до такой степени развития, что требует удовлетворения, – оно начинает смотреть на каждое событие дня сквозь призму своего состояния: нельзя ли как-нибудь воспользоваться этим событием для своей цели. Идет ли человек или лежит, читает или говорит, сердится или радуется, – влечение в своей жажде одинаково хватается за каждое состояние, в котором находится человек. Если оно не найдет для себя подходящей пищи, оно идет и снова жаждет; пройдет некоторое время, и оно начинает вянуть; пройдет еще несколько дней или месяцев неудовлетворения, и оно начинает сохнуть, как растение без дождя. Может быть, эта жестокость случая еще резче бросалась бы в глаза, если бы все влечения требовали такого удовлетворения, как голод, который не удовлетворяется пищей грез, но большинство влечений, так называемые моральные влечения, делают именно это: наши сны имеют именно такое значение – *компенсировать*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.